

РОКОВЫЕ ГОДЫ

(Из воспоминаний)

1. — «Плеве убит».

Лѣто 1904 года я провел в прелестном мѣстечкѣ Кварнерскаго залива Адриатики, Аббаціи, — извѣстном курортѣ, огражденном от вѣтров плоскогоріем Истрійскаго «карста». Узкое побережье представляет здѣсь, как у нас в Крыму или на Ривьерѣ, рѣзкую смѣну температур. В Аббаціи — это крутой переход от горнаго климата Краины к мягкой температурѣ и роскошной растительности Средиземнаго моря. Я должен был с'ѣхать в этом благословенном уголкѣ с моей семьей; дѣти лѣчились в Швейцаріи, а я работал в лондонском Британском Музеѣ над екатерининским періодом третьей части своих «Очерков». В Америкѣ я приготовил к печати первую половину своей книги, составившейся из курса лекцій о «Русской Цивилизаціи», прочтеннаго лѣтом 1903 г. в Чикагском университетѣ. Готовы были и сданы в печать главы этой книги, излагавшія исторію русскаго націонализма, религіозной и политической традиціи, а также — в сильно передѣланном видѣ — главы об исторіи либеральной и социалистической традиціи. Но мнѣ предстояло приготовить лѣтом для Института Лоуэлла в Бостонѣ курс лекцій о «Русском Кризисѣ», долженствовавшей составить вторую часть книги под этим заглавіем. А, главное, в том-же Чикаго для славянской кафедрѣ, основанной Ч. Р. Креном, я был приглашен прочесть второй курс — о Балканском славянствѣ.

В этом отношеніи выбор Аббаціи не был случайным. Я достаточно знал исторію и современное положеніе восточной части Балканскаго полуострова — в результатѣ моего двухгодичнаго пребыванія в Болгаріи и поѣздок по Македоніи и по Старой Сербіи. Но западная часть балканскаго славянства, словенцы, сербы, хорваты были мнѣ менѣе извѣстны. Из Аббаціи я предполагал совершить

поѣздку по Далматскому побережью, Черногоріи, Герцеговинѣ и Босніи. Аббачія служила как-бы преддверіемъ к этой поѣздкѣ. Это былъ центр, в котором давно уже шла борьба между итальянцами, занимавшими западный берегъ Истріи, по ту сторону плоскогорья, словенцами и хорватами, составлявшими отъ Триеста и Фіуме дальше на югъ — сплошной славянскій хинтерланд Далматскаго побережья. Такимъ образомъ, я былъ слишкомъ занятъ этой двойной подготовкой къ курсу и къ путешествію, чтобы регулярно сопровождать семью на утреннія купанья, и лишь къ вечеру выходилъ на прогулки по мѣстному побережью и парку.

29 іюля, выйдя навстрѣчу возвращавшейся с утренняго купанья семьѣ, я издали увидѣлъ в руках у жены газетный листъ, которым она размахивала со всѣми признаками сильнаго волненія. Я ускорилъ шагъ и услышалъ взволнованный крикъ: «убитъ Плеве»! Да, тут было отъ чего взволноваться. Я прочелъ телеграмму. Точно, Плеве разорванъ бомбой во время поѣздки к царю с докладомъ. Итак, в самомъ дѣлѣ, «убитъ Плеве», — онъ, который лежалъ тяжелымъ камнемъ на пути неизбежнаго русскаго возрожденія, боролся с земствомъ, устраивалъ еврейскіе погромы, преслѣдовалъ печать, усмиралъ порками крестьянскія возстанія, давилъ репрессіями первыя, сравнительно скромныя проявленія національных стремленій финляндцевъ, поляковъ, армянъ. Онъ, который сказалъ генералу Куропаткину: «намъ пужна маленькая побѣдоносная война, чтобы остановить революцію». Война оказалась не маленькой и не побѣдоносной. Какъ разъ передъ смертью Плеве русскія войска испытывали пораженія, а поступательный ходъ революціи сказался на судьбѣ самого Плеве. Да, здѣсь, очевидно, начинался какой-то новый періодъ русскаго исторіи — и русской революціи, какъ вступленія в этотъ новый періодъ. Но поймутъ-ли это тѣ, кто хотѣлъ политикой Плеве преградить путь поднимающемуся революціонному потоку?

Можно-ли было не радоваться, что Плеве убитъ? Но у меня не было чувства гнѣва и ненависти, которые направили бомбу в карету, в которой ѣхалъ Плеве. Не было даже и охоты шутить на эту тему вмѣстѣ с авторомъ ходившаго тогда стихотворенія, в которомъ содержалась просьба «милымъ эс-эрамъ», чтобы, при повтореніи ударовъ, «былъ кучеръ дѣл». Я никакъ не могъ представить себѣ Плеве в роли простаго злодѣя. Недостатокъ воображенія, холодность сердца или ученая привычка историка? Всего за два года передъ его трагедіей я видѣлъ Плеве и разговаривалъ с нимъ по-человѣчески, —

хотя, в сущности, почти предсказал его судьбу. Об этой странной встрѣчѣ, первой и единственной, я хочу здѣсь рассказать подробно.

Я сидѣлъ в тюрьмѣ (в «Крестах») по приговору, который великодушно предоставил мнѣ на выбор: или ѣхать в ссылку в Уфу, или провести полгода в тюремном заключеніи. Как видно, правительство отнеслось ко мнѣ снисходительно. Я выбрал тюрьму — в виду болѣе краткаго срока, — так как приглашеніе в Америку было уже мною получено. В промежуткѣ между этим сидѣніем и предыдущим (тогда в порядкѣ предварительнаго слѣдствія на Шпалерной), я даже получил разрѣшеніе перед отсидкой отправиться в Англію для усовершенствованія в англійском языкѣ. Отпущенный на честное слово, я по возвращеніи честно отправился в тюрьму, хотя и не был сразу принят, так как попал в Кресты в праздничный день. Эта была идиллія, отнюдь не похожая на то, чѣм стало заключеніе в тюрьму в разгар послѣдовавшей политической борьбы. И за три проведенные в моей кельѣ мѣсяца мнѣ не на что было жаловаться. Книги были в моем распоряженіи в изобиліи — и заваливали цѣлый угол одиночной камеры. Друзья снабжали меня сладостями, жена приносила существенное; не было недостатка и в цвѣтах: особенно мнѣ нравилось вдыхать запах нарциссов, которые приносила семья Мякотиных.

Три мѣсяца прошли благополучно, когда раз поздним вечером меня вызвали из камеры и велѣли надѣть пальто. Это не значило, конечно, как позднѣе, что меня отправляют «с вещами»; кроме нѣкотораго удивленія (так как о цѣли поѣздки не сообщали) я не испытал никакого болѣе сложнаго чувства. Это не мог быть новый допрос, да и везли меня не к жандармам на Тверскую. Тюремная карета остановилась перед домом министерства внутренних дѣлъ на Фонтанкѣ. Меня повели какими-то таинственными, пустыми, слабо освѣщенными коридорами, — и тут я неможно струхнул. Мы прошли с провожатым через нѣсколько дверей, как-то автоматически открывавшихся и закрывавшихся перед нами. Каждый раз за дверями обрисовывались по двѣ рослых фигуры атлетов в костюмѣ скорѣе лакеев, чѣм чиновников. Наконец, ввели в переднюю — и сообщили, что меня хочет видѣть министр. Очевидно, Вячеслав Константинович Плеве был очень хорошо забаррикадирован от непрошенных визитов. Будучи введен в просторный, роскошно обставленный кабинет министра, я был приглашен лю-

безным жестом хозяина занять мѣсто против его кресла за кабинетным столом. Министр заказал чай; поднос скоро принесли, и мы усѣлись за маленьким чайным столиком, в уютѣ, как бы предназначенном для интимной довѣрительной бесѣды. Плеве и начал в этом духѣ, объявив себя, прежде всего, моим поклонником по содержанию печатавшихся тогда в «Мирѣ Божьем» «Очерков русской культуры». Отсюда он перешел к похвалам моему учителю, профессору Ключевскому, и сообщил мнѣ, наконец, что Василиій Осипович говорил государю, что я нужен для науки и что меня нельзя держать взаперти. Государь поручил ему, Плеве, предварительно познакомиться и поговорить со мной, чтобы, смотря по впечатлѣннiю, меня выпустить. Он и просил меня повѣдать ему откровенно и искренно о всѣх моих недоразумѣнiях с полиціей. Степень откровенности для меня сразу опредѣлилась тѣм, что мое досье лежало на рабочем столѣ министра, и он успѣлъ уже процитировать из него нѣсколько вышних данных. Должен признать, что и эта обстановка разговора, и послѣдовавшее приглашенiе говорить свободно настроили меня на юмористическій лад. В этом тонѣ я и отвѣчал ему, что попал в тюрьму, сам не зная за что, так как допрос меня жандармским полковником Шмаковым не обнаружил за мной никакого преступленiя, кромѣ факта моего присутствiя на студенческой вечеринкѣ, в помѣщенiи Горнаго Института, в память незадолго перед тѣм скончавшагося П. Л. Лаврова. Единственный оффиціальныи свидѣтель моего преступленiя оказался, как я заключил из весьма не искуснаго допроса Шмакова, неграмотным филером охранки: кромѣ часов моего прихода и ухода, да еще показанiя о том, в какой шапкѣ я был, он рѣшительно ничего не мог сообщить слѣдствию о разговорах на этом собранiи, о личностях ораторов и о моей роли на нем. Я сказал Плеве, что меня просили предсѣдательствовать, и что от этого я не мог отказаться; мнѣ не нужно было прибавлять, что общенiе со студентами для меня дѣло обычное и что за это десятью годами раньше меня и выгнали из Московскаго университета. О поводах к тогдашней высылкѣ в Рязань и о допросѣ меня там тов. прокурора Лопухиним я рассказал весьма подробно. Все это, — конечно, только без юмористическаго освѣщенiя, — имѣлось и в моем досье.

Об одном я недобросовѣстно умолчал, а Плеве и не спрашивал: о содержанiи рѣчей якобы в память Лаврова и о моем по этому поводу предсѣдательском резюме. Рѣчи были, как и слѣдовало ожи-

дать, весьма острыя. Мое резюме было... строго научное, но... много лѣтъ спустя Савинков сказал мнѣ, что он присутствовал студентом на этом митингѣ и, в сущности, сдѣлался моим учеником! А я только проводил историческую параллель между семидесятыми годами прошлаго вѣка, когда шла эмигрантская дѣятельность Лаврова, — тоже научная и «профессорская», — и тѣм, что происходило в первые годы нашего столѣтія. Вечеринки в семидесятих годах в Цюрихѣ и Женевѣ оказались прологом к «хожденію в народ», а это хожденіе вступленіем к террористической дѣятельности Народной Воли. Тринадцать лѣтъ реакціи (1881 — 1894) и десятилѣтіе оживленія 1891 — 1901 годов, было отмѣчено, если не хожденіем интеллигенціи в народ, то движеніями в рабочей и крестьянской средѣ; предстоял, в виду выяснившагося безсилія коллективных заявленій, тоже какой-то переход к прямому дѣйствию. Не помню, употреблено-ли было прямо слово террор, но Савинков понял меня правильно — и из исторической схемы, мною набросанной, сдѣлал практическое употребленіе. Первый акт террора (убійство мин. внутр. дѣл Синагина) произошел уже тогда, когда я сидѣл в тюрьмѣ на Шпалерной...

Словом, грань между историческим прогнозом и дѣйствительным ходом событій оказалась весьма шаткой. Не знаю, как бы поступил со мной полковник Шмаков, если-бы его филер был болѣе грамотным. По счастью для меня, этого не случилось. Напрасны были попытки Шмакова поощрить меня к откровенности справками, что вот-де тѣ, старые революціонеры — то были «орлы»; они сразу во всем признавались, а теперь пошли какіе-то «воробыи»... Я предпочел числиться в «воробьях».

Итак, наша бесѣда с Плеве могла продолжаться в мирных тонах, без вмѣшательства криминальнаго элемента. Все-же, я был несказанно удивлен, когда, без перехода разговора на современную политику, он меня спросил в упор: что бы я сказал, если-бы он предложил мнѣ занять пост министра народнаго просвѣщенія? Было-ли это болѣе искусное продолженіе тактики полковника Шмакова? Или же, — что мало вѣроятно, — предложеніе было сдѣлано всерьез? Во всяком случаѣ, *тогда* я всерьез его не принял. Я хотѣлъ отшутиться, но отвѣтъ мой неожиданно придал бесѣдѣ серьезный оборот. Я отвѣтил, что поблагодарил-бы за лестное предложеніе, но по всей вѣроятности, от него бы отказался. Сдѣлав удивленный вид, Плеве спросил: почему-же? Отвѣчать надо было по

существо, и свой отвѣтъ я помню буквально. «Потому что на этом мѣстѣ ничего нельзя подѣлать. Вот если бы ваше превосходительство предложили мнѣ занять ваше мѣсто, тогда бы я еще подумал»...

Плеве был умный человекъ. Даже если он принялъ мой отвѣтъ не за оцѣнку положенія, а за мальчишескую выходку или за оппозиционную браваду, он не показал вида, что хочет переменить тон бесѣды. Да и цѣль бесѣды, вѣроятно, была предрѣшена. Все-же теперь все было сказано, политическій экзамен доведен до конца, и Плеве кончил свиданіе словами, что обо всем доложит государю и на днях меня снова вызовет.

Я был затѣм водворен обратно в мою келью — без особенно радужных надежд на освобожденіе. Прошла недѣля без послѣдствій, и свѣжестъ полученных в кабинетѣ министра впечатлѣній уже начинала изглаживаться, когда за мной опять пріѣхали. Я был прежним порядком доставлен, прошел через тѣ же коридоры и миновал благополучно великанов в ливреях. Но дальше передней меня на этот раз не пустили. Пришлось подождать. Вышел, наконец, Плеве и, стоя передо мной, совсѣм уже другим тоном, рѣзко скандируя слова, отчеканил. Его короткую рѣчь я запомнил наизусть. «Я сдѣлал вывод из нашей бесѣды. Вы с нами не примиритесь. По крайней мѣрѣ, не вступайте с нами в открытую борьбу. Иначе — здѣсь слѣдовал очень выразительный жест правой руки слѣва направо — иначе мы вас сметем... Готовится петиція писателей; не подписывайтесь под нею. Живите спокойно в Удѣльной*). Иначе вы меня подведете: я дал о вас государю благопріятный отзыв... Вы свободны».

Не помню, ждал-ли я послѣ суроваго тона этих слов рукопожатія; кажется, его не было. Плеве повернулся и ушел в кабинет. А мнѣ его стало жалко. Он представился мнѣ в первой нашей бесѣдѣ и теперь, послѣ данной мнѣ вынужденной амнистіи, каким-то Дон-Кихотом отжившей идеи, крѣпко привязанным к своей тачкѣ, — гораздо болѣе умным, чѣм та по истинѣ Сизифова работа, которой он принужден был заниматься. То же впечатлѣніе произвела на меня потом пророческая записка Дурново, когда я с нею познакомился, с той только разницей, что Плеве показался мнѣ гораздо болѣе сильной и цѣльной натурой.

*) Мнѣ было запрещено пріѣзжать в Петербург.

Через нѣсколько дней меня в самом дѣлѣ освободили. Я мог с'ѣздить в Америку, подготовить и прочесть первый курс лекцій, поработать зимой 1903 - 1904 г. в Лондонѣ и прїѣхать в Аббацію — по дорогѣ на Западныя Балканы. А тѣм временем русская жизнь развертывалась в роковом направленіи. И вот результат! вмѣстѣ с личностью Плеве уходил в исторію его неудачный «опыт» — спасти от революціи старую монархію. Неужели этот опыт будет продолжаться? Неужели он повторится?

Нѣсколько дней спустя послѣ убійства Плеве я получил в Аббаціи из Штутгарта номер 52-й нашего оппозиціоннаго журнала «Освобожденіе» от 1 августа (н. с.). Он уже был полон откликов на сенсацію дня. Я с удовлетвореніем увидѣлъ, что настроеніе этих откликов совпадало с моим. В редакціонной статьѣ П. Б. Струве говорилось, что «с первых же шагов назначеннаго два года тому назад преемника убитаго Сипягина, вѣроятность убійства Плеве была так велика, что люди, понимающіе политическое положеніе и политическую атмосферу Россіи, говорили: жизнь министра внутренних дѣл застрахована лишь в мѣру технических трудностей его умерщвленія». Слѣдующая статья «Путешественника» признавала «моральную противоестественность чувства радостнаго удовлетворенія», вызваннаго в «сердцах многого множества русских людей» исчезновеніем Плеве, но соглашалась, что чувство это «вполнѣ естественно при противоестественных условіях русской жизни». А дальше слѣдовала моя собственная статья, посланная в редакцію «Освобожденія» еще до убійства Плеве, и в ней значилось: «Плеве, несомнѣнно, дискредитирован в глазах всей Россіи, и его паденіе есть только вопрос времени». Я предсказывал там, что «Витте скоро явится в роли спасителя Россіи от бездны зол, в которыя ввергнул ее Плеве», и ставил тревожный вопрос: «с какой программой явится перед Россіей тот или другой замѣститель Плеве?».

Статья моя набрасывала главные пункты минимальной программы необходимой реформы*) в полемикѣ со статьей противоположнаго настроенія, напечатанной в номерѣ 50-м «Освобожденія» от 8 іюля. В той и другой статьѣ излагались два противоположные взгляда на дальнѣйшій ход конституціоннаго движенія в Рос-

*) Ходячей фразой тогда было: «не реформы (о которых говорила статья ном. 50), а реформа» (т. е. конституція).

си. Оба взгляда тогда еще могли совмѣщаться в одной и той же предварительной группировкѣ русских конституціоналистов, которую анонимный автор оспариваемой мною статьи называл «либеральной», а мои единомышленники предпочитали называть «демократической».

«Либерал» полагал, что до начала русско - японской войны «платформой должна была быть: 1. Безумная и разрушительная, с точки зрѣнія силы и могущества Россіи, борьба правительства с земством и мѣстными живыми силами и 2. Крестьянскій вопрос, тѣсно связанный с аграрными беспорядками и волненіями». Автор исходил при этом из утвержденія, что «правительственная машина современного государства неизмѣримо сильнѣе всѣх сил, обычно признаваемых за реальныя — террора, возстаній и бунтов», и что «рѣшающей силой» должно явиться «государственное» общественное мнѣніе. Но начавшаяся уже организациія такого мнѣнія должна была, в виду войны, быть приостановлена, и дѣятельность сложившихся уже ячеек — направлена в другую сторону. Отсюда вытекала, соотвѣтственно «характеру даннаго историческаго момента», новая платформа. А именно: «1. Конституціонная партія должна принять *пассивное* положеніе по крайней мѣрѣ на ближайшее время. 2. Она должна перенести центр тяжести на вопросы японской войны и с нею тѣсно связанные и 3. Должна дать работу своим кружкам и организациям, связанную с подготовкой общественнаго мнѣнія по этим вопросам».

Земское происхожденіе этой, болѣе чѣм умѣренной и далеко неясной, программы было несомнѣнно. Но среди земцев были и другіе взгляды, выраженію которых собственно и должно было служить «Освобожденіе». Я лично никогда не был «пораженцем». Когда, в январѣ 1904 г., японскіе миноносцы без объявленія войны напали на русскій флот в Порт - Артурѣ — и тѣм сорвали нелѣпную путаницу, в которой заблудилась по прямой винтѣ царя русская дипломатія, — я помню нашу немедленную реакцію на это событіе в Лондонѣ, гдѣ я тогда находился. И не только «нашу» в тѣсном смыслѣ.

В тот самый день, когда телеграммы об этом событіи появились в англійских газетах, мы с покойным Н. В. Шеловским были в гостях у П. А. Кропоткина в Брайтонѣ. Старик вышел к нам в большом волненіи и несказанно тронул нас горячим выраженіем своих патріотических чувств. Вопреки происхожденію войны, ко-

тору со стороны Россіи никак нельзя было назвать просто «оборонительной», он желал скорой и рѣшительной побѣды Россіи. Автор статьи в «Освобожденіи» считал теперь, напротив, что «война затянется надолго», ибо «мир в ближайшее время может быть заключен лишь путем униженія и огромных потерь», в которыя вовлекло Россію «поразительное легкомысліе и невѣжество полицейскаго самодержавія». Но это самое самодержавіе, «угрожаемое в настоящее время изнутри, не может взять на себя ответственности» за послѣдствія своего легкомыслія и невѣжества! Мнѣ пришлось напомнить автору мнѣніе какого-то русскаго тайнаго совѣтника, высказанное во французской газетѣ в первыя - же недѣли войны, — что «война *должна* быть продолжительной, чтобы дать время создаться моральному единству в средѣ русскаго общества, в настоящее время раздираемаго внутренними междоусобіями». Это мнѣніе до поразительности совпадало с взглядом Плеве, что цѣль войны — предупредить революцію, почему и надо было ее затѣять (вопреки тогдашнему упорному противодѣйствію Витте).

При таком положеніи (в 1914 г. было другое) я рѣшительно отказывался «волочиться за событіями, предоставляя им спутывать всѣ наши расчеты». Я возражал против предложеннаго перехода к «пассивности» и против монополизациі автором понятія «государственности». Я шел дальше и говорил, как бы предчувствуя ту роль, которую готовилось сыграть в быстро развернувшейся борьбѣ то теченіе, которое заранѣе признавало себя единственно «государственным»: «мы не думаем призывать русскіх конституціоналистов к «террору» и вмѣстѣ с автором надѣемся, что организованное мнѣніе интеллигенціи останется чуждым «классовой борьбѣ». Но мы не можем не признать, что лишь *активная* борьба, какова бы она ни была по своим формам, расчищает дорогу той группѣ, которая от имени «государственнаго» общественнаго мнѣнія готовится эксплуатировать побѣду. И мы не можем не считать верхом неблагодарности и непониманія со стороны представителей этой группы, кому и чему они будут обязаны своим торжеством». Тут опредѣлялась точно разница наших тактик в будущем.

Тридцать три года спустя послѣ того, как слова эти были сказаны, их смысл гораздо легче расшифровать, чѣм было в то время. Под них можно теперь подставить имена и событія так же, как и под выраженіем мнѣнія противоположной группы. Я, конечно

но, не могу и не хочу продолжать теперь начатую тогда полемику. Спор кончен — в ту или другую сторону; всякія рекриминаціи задним числом были бы теперь неумѣстны и бесполезны. Смерть Плебе, взбудоражившая мое мирное пребываніе в Аббаціи, лишь всколыхнула во мнѣ заснувшія воспоминанія, с нею связанныя. Не предупреждая событій, я напомию теперь и ту положительную программу, которую в той же полемической статьѣ я противопоставил недоговоренной программѣ временных союзников, будущих противников. Вот мое тогдашнее заключеніе:

«Наша, т. е. конституціоналистов, очередная политика должна заключаться в дружном и по-возможности демонстративном заявленіи тѣх основных условий, на которых мы политическую реформу, сдѣлавшуюся необходимой, сможем признать реформой, удовлетворяющей общественное мнѣніе. Не разбиваясь на частности, я предложил бы сговориться, по крайней мѣрѣ, относительно двух основных черт:

«Во-первых, только такое народное представительство мы будем считать отвѣчающим общественным требованиям, которое будет формально облечено законодательною властью и правом разсмотрѣнія бюджета, а не ограничено совѣщательной ролью при предварительной подготовкѣ законопроектов.

«Во-вторых, только такое народное представительство мы признаем народным, которое явится не представительством от учрежденій, хотя бы и свободных, а непосредственным представительством самого населенія путем прямых выборов...

«Можем-ли мы сговориться хотя бы на этом? Или-же мы принуждены будем сдѣлаться соучастниками дѣяній будущих спасителей отечества во внутренней политикѣ, какими автор статьи готов уже сдѣлать нас по отношенію к виѣшней? На эту роль мы, во всяком случаѣ, не пойдем, а тѣ, кто пойдут на нее, пусть идут не от нашего, а от какого-нибудь другого имени.

На всякій случай напомию: статья напечатана 19 іюля (1 августа) 1904 г. в штутгартском «Освобожденіи». Но поставленные тогда на ближайшую очередь вопросы, послѣ всѣх зигзагов вправо и влѣво, остаются и по сію пору открытыми.

П. Милюков.